

> МАГИСТРАЛЪ >



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Материнское поле



Москва

УДК 821.161.1-31(575.2)  
ББК 84(5Кирг)6-44  
А36

Художественное оформление серии  
*Натальи Портяной*

**Айтматов, Чингиз Торекулович.**

А36 Материнское поле / Чингиз Айтматов. — Москва : Эксмо, 2026. — 448 с. — (Магистраль. Главный тренд).  
ISBN 978-5-04-230124-7

Юноша Суванкул и девушка Толгонай клянутся делить счастье и беду поровну. Они делают все вместе: работают на родном поле, взращивают любимых мальчиков, строят по кирпичику дом. Война тянет из женщины свой кровавый оброк, перемалывает мужчин Толгонай жерновами исторических событий. Толгонай скорбит, выплакивает поля отчаяние и боль, но находит силы жить дальше в труде, честности, заботах бабушки. Один раз спасла от смерти малыша, чуть не умерев сама: отнесла на руках к врачу по ледяной реке. Иногда Толгонай обращается к полю, спрашивает, как дойти до сердца каждого человека? Поле отвечает: «Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты — Человек! Ты скажи!».

В составе сборника еще две повести автора: «Ранние журавли» и «Прощай, Гульсары».

УДК 821.161.1-31(575.2)  
ББК 84(5Кирг)6-44

ISBN 978-5-04-230124-7

© Айтматов Ч.Т., наследники, 2026  
© Оформление. ООО  
«Издательство «Эксмо», 2026

**МАТЕРИНСКОЕ  
ПОЛЕ**



*Отец, я не знаю, где ты похоронен.  
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.  
Мама, ты вырастила всех нас, четверых.  
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.*



# 1

В белом свежесстиранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь.

Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы.

Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

## 10 Чингиз Айтматов

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подросток, теперь он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду. Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза.

Эх, если бы можно было просто в двух словах взять да и рассказать, будто сказку. В последнее время только об этом и думаю, ведь не ровен час — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я... Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду

я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы...

— Садись, Толгонай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

— Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.

— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

## 2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибежала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины.

Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешься — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых айлов<sup>1</sup> с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака-джатака. Деда моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любишься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас закрою глаза — и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати...

---

<sup>1</sup> По данным БСЭ: у киргизов и алтайцев в прошлом посёлок кочевого или полукочевого типа, обычно состоявший из родственников различных степеней.

Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный; скулы блестели, как темная медь; с виду казался он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — любо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну, кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, истоптанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как точка, и бился там,

трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях...

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе... Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посетит да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки, и молча,

просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий, добрый хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной соломы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери-земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не даешь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень

рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час...

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные, сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди...

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем я рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать...

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром... — упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался.

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость...

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становилось неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался.

«Я, — говорит, — пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон и каждый учил. Ты, говорят, отец, прямой держи карандаш, да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следы — дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят между собой и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у бабабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суван-

кул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно — или тебе муллой быть, или трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжело вздохнет:

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аилом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками. И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку; оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали, побоялись, что не отпущу. А оно и правда, испугалась я за детей — а вдруг что случится — и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие —

Касым и Маселбек — точь-в-точь не отличить от Суванкула, такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой, Джайнак — тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, — все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала тогда от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла обессиленная и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы — что может быть лучше работы?

Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сто-